рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, тоже пахнущую мочой и тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот.

— Давай платок! — не глядя вытянул Сошнин руку. Венька Фомин сунул ему затасканный, серый комочек. — Что ж ты наделал, паскудник! — простонал Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и кинулся на свет, зажимая рану.

Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником бегущих друг за другом по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы его зарезать, завыли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полевку, просить Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полевским народом причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится штырь, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или средь проселка. У Маркела Тихоновича «к груде подопрет», сама Чащиха, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с собой возьмут...

Не только носовой платок, но и майка кисельным, липким сгустком сползла к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левой штиблетине. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа. «Так быстро! Худо мое дело...»

— Помогай! — сорванно прохрипел Сошнин.

Венька Фомин суетливо подставился, захлестнул руку Сошнина на своей тощей шее — видел в кино или на фотографиях, недоумок, как выносят раненых с поля боя.

— О-о-ой, пала, попался-а... Опять попался! — выл он. — Так от тюряги, видно, мне никуда и не уйтить. Доля моя, пала, пропащая... — С Веньки Фомина катился слабосильный пот. В немощных грязных струях пота дрожала сенная труха, и, когда касалась губ, он слизывал грязную смесь и, забыв ее сплюнуть, глотал горечь, продолжая выть и причитать.

Ноги Сошнина слабели, свет серел, шевелился, плыл рыбьей слизью перед глазами. Его мутило от запаха Венькиного грязного пота, от дури назьма, от горькости сена, душило скипидарной остротой телячьей мочи или человечьей — разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину, вплоть до разведенного гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не слабели, не рассасывались на холодном ветру, наоборот, все плотнее окружали Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты.

На дверях починковского медпункта висел древний амбарный замок. Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед дверью, прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадил Сошнина на крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою, псиной пропахшую, телогрейку.

— Я чичас... чичас, чичас... Я ее, палу, с-под земли достану! С-под егеря выташшу, коли он на ей охотничат... Чичас, чичас...

Никто на фельдшерицу не охотился, она ни на кого не охотилась, в годах уже была, и, как положено равноправной женщине, в усладу использовала воскресный день — стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был полный порядок, и лекарства необходимые были: йод, бинты, вата, даже спирту пузыречек не выпит. И сама фельдшерица чиста, обиходна, хоть заметку про нее пиши в газету. Хвалебную. Вот выздоровеет и напишет! — этот вялый проблеск юмора последний раз посетил в тот день всегда склонную к иронии, последнее время — самоиронии, творчески настроенную голову иль душу Сошнина.

Фельдшерица, споровисто и ловко перевязывавшая Сошнина, мигом сняла с него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб впадать в панику.

— Ой, какая грязная рана! Пузырится... кровь пузырится... Плевра задета. Кто это вас? Неужто ты, недоносок?! — воззрилась фельдшерица на Веньку Фомина, измученно отдыхивающегося на пороге медпункта и «впритырку» — урка же, вечный арестант! — Штатный уже! — покуривающего в рукав. — Милиционера! При исполнении!.. Будет тебе, будет!.. — И помогла лечь Сошнину на топчан, прикрыла его, ознобно дрожащего, простынею, половичком и сверху своим давно из моды вышедшим болоньевым плащиком...

— Он че, милиционер?!

— А ты не знал! — держа руку поверх одежонок, чуть прихлопывая раненого, точно ребенка, со злой неприязнью сказала фельдшерица.

— Да откуль?

— Зять Чащиных, с Полевки.

— Ой, пала! — взвыл Венька. — Че его в Тугожилино-то принесло? Дуба даст... К стенке ж...

— Такому давно к стенке пора. Выдь на улку курить, часотошный.

Из хайловской больницы ответили — нет бензина, да и воскресенье, да и вообще в сельскую местность они не обязаны посылать машины «скорой помощи». «Надо, так везите больного на своем транспорте».

Хайловск говорил с сельским фельдшером надменным голосом столицы. Сошнин подтянул к себе телефон, позвонил на квартиру начальника райотдела, Алексея Демидовича Ахлюстина, попросил помочь бензином и приказать «скорой» доставить его в областную больницу. Хайловские медики празднуют воскресенье, а празднуют они его, знал Сошнин, на рыбалке или в доме отдыха весьма активно, и до поне-

дельника ему едва ли и дотянуть, как заключил он по поведению фельдшерицы.

— Рана опасная, Леня?

— Кажется, опасная, Алексей Демидович.

— Всех на ноги подыму!

Ахлюстин примчался на машине «скорой помощи» и, увидев Веньку Фомина, затрясся от гнева:

— Сморчок ты, сморчок! Пакость ты, пакость! Зачем же ты на свет-то явился? Изводить полноценный народ! Ах, алкаши вы, алкаши, погубите вы державу...

Сошнина поместили в салоне машины на носилках. Фельдшерица накрыла раненого одеялом, принесенным из дома, села в головах его. В эту же машину намерились было втолкнуть и Веньку Фомина, чтоб сразу его сдать в областное сизо — следственный изолятор.

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — взмолился Венька Фомин, упираясь руками в раскрытую дверцу машины. — Додушит дорогой! Он может... Он же ж без памяти...

— Говорю — мразь! Эко дрожит, пащенок, за свою жизненку. Ну, Леня! — отечески погладил по груди Сошнина Алексей Демидович. — Крепись, Леня. — И развел руками по-стариковски несуразно и картинно. Поняв это, набычился, отвернулся, избегая привычных философских изречений, — были они тут неуместны.

Совсем уж было тронулись, как вдруг, разбрызгивая грязь, примчался на мотоцикле всадник в очках, в горбатом комбинезоне, на ходу, считай что, спрыгнул с мотоцикла, заскочил в машину «скорой помощи», причитая голосом Паши Силаковой:

— Леня! Леонид Викентьевич! Да что же это такое?! А-ах ты, пас-скуда! А-ах ты, вонявка!.. Да я тя!.. — бросилась она на Веньку Фомина, свалила злодея в грязь, села на него верхом и принялась волтузить.

Алексей Демидович едва отнял Веньку Фомина и, волоча его, смятого, грязью облпапанного, к сельсовету, махнул рукой — поезжайте, мол, поезжайте. Паша Силакова все налетала сзади и отвешивала Веньке Фомину пинкарей здоровенными сапогами. И с сапог или от зада волочимого злодея, будто в замедленном кино, летели ошметки грязи и назьма. Венька Фомин, как дитятя от родительского ремешка, пытался прикрыть зад ладонями.

— Да поезжайте же! — простонал Леонид.

Паша Силакова, пинающая Веньку Фомина, собственный стон и слова: «Да поезжайте же!..» — было последним, что въяве слышал и помнил Леонид. На грейдере и по склонам логов, размытых осенними дождями, лужи, лужи, в выбоинах под грязью склизкий лед. Било, подбрасывало, трепало машину на пустынной, всеми забытой дороге. Раненый погрузился в тяжелое забытье. Виделась ему раздавленная крыса. В Вейске во время дежурства он часто ходил в блинную, расположенную в самом центре города, но в тихом переулке и оттого малолюдную. Здесь работали веселые румяные девки в пышных капорах из марли. Они не жалели для Сошнина масла, подсушивали блины на сковородке до хруста — как тетя Лина.

Едут однажды милиционеры на дежурной машине по зеленому переулку и зрят: из старого, подгнившего дома через переулок в блинную шествует огромная, пузатая крыса с гусарскими усами. Шофер прибавил скорость, крыса смертно взвизгнула. К вечеру на земле остался клочок шкурки: городские санитары — вороны склевали падаль. С тех пор Сошнин не заходил в блинную, и стоило ему ее вспомнить — являлась дородная, брюхатая крыса — и его начинало выворачивать. В пути от Починка выворачивало так, что начались спазмы в сердце. От приступов рвоты пузырилась из раны кровь. Раненый ослаб за дорогу до того, что весь до горла погрузился в желтую навозную жижу и каким-то, ему уже не принадлежащим усилием вздымал голову, не давал захлестнуть жарко распахнутый рот вонючим потоком, но с крысой ничего поделать не мог — она все визжала и визжала под ним, особенно громко на разворотах, рожая и рожая мокрых, голых крысят.

Выехали на асфальт, крыса смолкла, но отделилась от туловища голова, загремела по железному полу, катаясь из угла в угол. Вот и голова хрустнула под колесами, правда, без визга, и осталась на растрескавшемся асфальте, бескровная, с открытыми живыми глазами. Возле дороги, на вершинах черных елей сидели черные вороны, чистили клювы о ветки, собираясь расклевывать голову. Начнут они ее с глаз, с живых, серо-голубоватых, с детства ведомых Леониду глаз русского северянина.

— Голову!.. Забыли мою голову! Голова-а-а-а! Подбери-и-ите-э!

Ему казалось, он кричал так громко, что его слышно даже воронам, и, спугнутые криком, они разлетятся, не тронут голову. Но он лишь слабо шевелил губами, истерзанными до мяса. Что-то прикасалось к ним, обжигало рот, пронзало ноздри, ударяло в то место, где должна быть голова, и он хотя бы на короткое время получал передышку, сознавая, что жив, что голова с ним, на месте.

Но вот на месте головы замелькал свет милицейской мигалки-вертушки, но не синим и не красным светом моргала вертушка, а почему-то навозно-желтым, и снова задирал раненый лицо, не давал жиже залить рот, ноздри, но желтые валы наплывали неумолимо, медленно, будто сера из подрубленного дерева. Слепляло рот Леонида, склеивало нутро, душило и душило горло, судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в узел, рвали жилы.

Навалившись негрузным телом на Сошнина, не в силах успокоить, удержать конвульсии раненого тела, деревенская фельдшерица заливалась слезами:

— Миленький... Миленький... — умоляла, просила, криком кричала фельдшерица. — Не мечись! Не мечись! Успокойся! Кровь... шибчее кровотечение. Миленький... миленький... Скоро. Город скоро. Миленький... миленький!.. Сколько в тебе силы-то! Ты выживешь. Выживешь...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников, в той же хирургической палате, в которую попадал Сошнин с поломанной ногой. Лежал на той же койке, возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее «стакан» радиопроводки. От «стакана», от ржавой резьбы кованого крюка, радостными электриками всаженного сюда, должно быть, еще в первой пятилетке, и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сошнин хотел и не мог пошевелиться, чтоб увидеть знакомый тополь, знакомую на нем хрупкую, как кость, ветку и на ней белый-белый «стакан», вросший в плоть дерева.

По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами, через колеблющийся, туманом наплывающий свет, он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки. Издалека донесло до него голос. Сообщалось: больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место все, что в нем слышало, ощущало и жило, — увидел тополь за окном, и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый «стакан». Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколотого, снежного, праздничного, сладкого. Осенним ветром шевелило, снимало остатки коры с отжившей ветки, но выше нее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отцвесть и опасть на землю. Малая птаха — синица или щегол, но тот ведь на репьях осенями жирует — значит, синица — выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и, когда клевала стерженек листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз. Птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист. Успокаивалась и снова начинала кормиться.

«И так вот всю жизнь! В поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны. Прелесть-то какая!..»

Почувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск, кокетливо склонив головку с детски сытенькими, лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от немощного человека нет ей никакой опасности.

— Пы... пы... пти-чка! — прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую птичку и она его видит. Живого.

Еще через сутки он спросил, не открывая глаз:

— Иде я?

— Идея все та же: побеждать зло, утверждать добро. — Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издалека пробился к нему голос Лерки.

Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужу, протянуты толстые провода! Они навеки крепко связаны.

К нему начал возвращаться юмор. Об семье! Самая это нынче юморная тема. По прозрачным трубочкам сочилось что-то светлое, катилось бусами круглых пузырьков, а провода выглядели устрашающе, словно вынутые из мертвого тела жилы, но шарики в стеклянных трубочках катились торопливо, весело, будто сок из весенней березы. Жалко, что не слышно звука. Но все равно хорошо. Просто так хорошо. Что-то вот шевелится, торопится, бодрится. Это что же получается: как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали?

А-а, Тугожилино. Телятник. Женщины. Венька Фомин... «Да что же это такое? Бьют и бьют. Калечат и калечат... Когда же этому конец будет?» Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно — проводами опутан, держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы.

— Ты когда-то сложишь удалую голову! — ругалась Лерка, хорошо ругалась. Слушал бы и слушал. Вообще все и всех слушал бы, на все и на всех глядел бы и глядел — такое это счастье. — В деревне, богом, начальством и людьми забытом углу, обезвредил преступника! У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох!

Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его, крепенькое, круглое, высвеченное солнцем, там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их.

— Там, в том углу, тебя... дуру...

— Встренул, — подсказала она.

— Аха!

— И что же? Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило?..

— Аха, ожило!

— Ну, ты даешь! На ласки повело жестокого опера. В лирику бросило. — Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. — И правда, птичка! — удивилась она. — Ну, зорок, орел! Ну, приметлив! Ума бы еще маленько, и был бы мужик хоть куда!

— Я и так чересчур умный, и от ума жить мне неловко. Ум большой — штаны короткие.

— Ври больше! Умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да еще писателей, из пистолетов бьют.

— Будь я в форме...! Он за туриста-интеллигента меня принял... иконы да прялки которые вышаривают... — Подышал — некуда торопиться-то, а поболтать так охота, давно с женой не болтал. — Интеллигенты что? Их должно резать или стричь...

— Нельзя тебе много шутить. На шутки умственность и сила тратятся. У тебя ни того, ни другого...

— Как я хочу жрать, старуха.

— О-о! Вот это другой разговор,

Выкарабкался! И на этот раз выкарабкался! На третий или на четвертый день пришла «подывыться» на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха из больничной кухни — от нее перелили Сошнину кровь — оказалась нужная ему группа.

Остановившись в отдалении, дивчина поздоровалась:

— Здоровеньки булы! Ну, як воно, здоровячко, товарищу лейтенант?

Сошнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова, поманил дивчину к себе:

— Подойдите. Подойдите поближе! — сердце Сошнина сорвалось с места. — «Да ради таких вот...» — здоровье мое... налаживается. — Он взял руку поварихи и поцеловал до жил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнущие луком и еще чем-то родным, тети Лининым, тети Граниным. Подкопив силенок, он и в щеку поцеловал дивчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее, и, чтобы развеять смущение, указал на улыбающуюся сквозь слезы Лерку. — Это моя жена! Без пережитков жена. Не ревнивая, потому как современная...

Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному — и инвалидная группа. Пока на год. Что дальше? Конечно, горотдел большой, да и областное управление внутренних дел — предприятие разнообразное, в каком-нибудь закутке найдут ему тихую, неопасную работу, на доживанье до пенсии по старости. Но зачем она ему? Кто побыл на фронте разведчиком, — сказывал Лавря-казак, — плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в уголовном розыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость.

Показательный суд над Венькой Фоминым наметили провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было суд перенести на центральную усадьбу, в Починковский поссовет. Дом культуры закрыт — его еще летом начали ремонтировать наезжие с Карпат шабашники и затянули работу.

Пока подсудимого возили да водили туда-сюда, успел он переодеться в чистое, покушать успел и изрядно поддать. Подруга Веньки Фомина, Арина Тимофеевна Тарыничева, все обиды простила ему, норовила быть поближе к «сердечному зазнобе», незаметно совала в карман сигареты, спички, конфетчонки в замусоленных обертках.

Народу на суд навалило видимо-невидимо! Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, ехали на велосипедах, мотоциклах, гармошки зазвучали, выпивохи объявились. Скучно и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытье. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам, уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу по раненому и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Арины — человек чуть не умер, на пенсию угодил, и, царапая затылок, хохотнул, лучше б, мол, было, если б рапая затылок, хохотнул, лучше б, мол, было, если б Сошнин ткнул вилами его — получал бы пенсию-то. Сошнин ткнул вилами его — получал бы пенсию-то. Товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие, а Сошнин имай преступников да имай.

— Вопше, извини! — посерьезнев, заключил Венька Фомин. — Не знал, што ты здешный. Здешных мужиков я, пала, берегу. Их мало.

Во время суда Венька Фомин был деловит, ревниво следил за тем, чтоб процесс шел по всем правилам, поправлял судью, заседателей, обвинителя и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно его слушал — голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла, — рассуждали бабы, — да только вот дураку досталась.

Суд шел долго, канительно. Бабы-свидетельницы путали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Арины Тарыничевой, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему три года, пошлют «на химию», потому как трудовых кадров нигде не хватает.

Но Сошнин знал: Веньку Фомина засудят на большой срок — третья судимость, и поднахватал он статей, одна хлестче другой, и отвалили подсудимому десять лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубаха на его спине. Бабы завыли в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Арина Тарыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньке Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел: «Н-неправельный экзамин! Фик-са! Чалиться в академии червонец? За что? Пришмотил легавого? Их на наш век хватит. Н-неправельный экзамин! Я не один задок имел, знаю, что за мокрятник полагается. Кассацию пиши, кореш. Не поможет — брызни!..»

Леонид вылез из духотищи поссовета, ушел на берег реки, в редкий сосначок, и оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу, в сутолоке подконвойного успели «освежить» сердобольные бабенки, он обнимал зареванную покорную Арину Тарыничеву.

— Жди меня, и я вер-р-р-рнусь, всем чертям назло! — грозя костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. — Все ждите! Я, пала, покажу кой-кому, как рога сшибают! Я, пала, научу вас свободу любить...

Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тестя с тещей, уехал в Хайловск на попутной, оттуда в полупустой, дремной электричке катил по родным, болотистым местам, смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, так прибранно зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки, на редко и черно торчащие в белых болотах де-

ревца, на голотелые осинники, на пестрые березы, глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравила из него жалость к преступникам, эту вселенскую, никем не понятую до конца и необъяснимую русскую жалость, которая на веки вечные сохраняет в живой плоти русского человека неугасимую жажду сострадания, стремления к добру, и в той же плоти, в «болезной» душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилось легковозбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное зло.

...Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-«химики» не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина — красавица, на шестом месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он ее убьет, просила: «Не убивайте меня! Я еще молода, и у меня скоро будет ребенок...» Это только разъярило убийцу.

Из тюрьмы молодчик послал одну-единственную весть — письмо в областную прокуратуру — с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина?..»

...Мама и папа — книголюбы, не деточки, не молодяжки, обоим за тридцать, заимели трех детей, плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг четвертый появился. Очень они пылко любили друг друга, им и трое-то детей мешали, четвертый же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного, а мальчик народился живучий, кричит дни и ноченьки, потом и кричать перестал, только пищал и клекал. Соседка по бараку не выдержала, решила покормить ребенка кашей, залезла в окно, но кормить уже было некого — ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не на темном чердаке, в читальном зале областной библиотеки имени Ф. М. Достоевского скрывались, имени того самого величайшего гуманиста, который провозгласил, да что провозгласил, прокричал неистовым словом на весь мир, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок...

...Еще. Папа с мамой поругались, подрались, мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый, да забыли родители дома ребенка, которому не было и трех лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола, научившегося ловить тараканов — он питался ими. В Доме ребенка мальчика выходили — победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений — он все еще кого-то ловит...

Жить можно по-разному, хорошо и плохо, ладно и неладно, справно и несправно. Вот его напарник по спецшколе и многим делам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу не то что не ранен, но даже не поцарапан. На пригородном участке у него дача почти в три этажа, да вся в резьбе, каминчик даже есть, в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером напоминает ту же, каковою безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На даче Феди Лебеды много музыки, цветной телевизор, машинешка, хоть и «Запорожец», но все же своя — все, как у добрых людей, и все не уворовано, не унесено, все на бедную милицейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь!» — заявляет с вызовом Тамарка, жена Феди Лебеды, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо хоть, увлеченная собой, искусством и чтением Маяковского, а может, из-за «надежных тылов» в селе Полевка, Лерка не внимала этому лозунгу. Ну, не то чтоб совсем не внимала, просто не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сошнин видел года три назад в электричке, возвращаясь из Хайловска в родной город Вейск. Женщина сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намок и просолел, суконной косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, как бы свалявшейся в шерсть, неряшливой от давней завивки.

«Простите, — сказала женщина, перехватив взгляд Сошнина, и, немножко поправив волосы и себя, добавила: — Мужа я погубила. Хорошего человека...» И снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала, в общем-то, очень простую историю, до того простую, что хоть вой в голос от ее простоты.

Жили да были муж с женой. Скромные советские служащие, со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не народились дети, дочка с сыном, бегали в киношку, хаживали в театр, по воскресеньям — на реку, зимой — на лыжах за город. Читали не очень чтобы много и не очень чтобы «настоящее», но читали, телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им: росли дети, время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель...

И ей тоже захотелось всего этого, и стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место и хоп — приносит домой денег сверх зарплаты, аж на цветной телевизор! Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз... домой не вернулся. И ждать его теперь придется пять лет...

Вот была она у него в колонии, на первом свидании, привезла первую передачу. «Смотри, смотри

на мужа-преступника! Любуйся! Ты этого хотела!..» — «Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, он от меня отвернулся, ни на что не реагирует, не плачет. Передачу не взял. Велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей ему жалко...»

Да-а, жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно. Вот совсем недавно, Сошнин уже был на пенсии, ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти не было. Федя Лебеда, потихоньку, полегоньку из угрозыска перебравшийся в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим вейскую спецшколу, сотрудником. У Феди Лебеды оружие, и все же к кассе пошел молодой, безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит: в дверях ковыряется человек. И, как водится: «Ваши документы, гражданин»! — «Шшас», — отвечает незнакомец, лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор тремя выстрелами валит милиционера.

Федя Лебеда, значит, живой, здоровый. В объяснительных объясняет, что объект-то совсем не опасный и кто ж его знал, что набеглый обормот, безмозглый тип при оружии? Федя Лебеда был капитаном, стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению; со спокойной, охранной работы его передвинули на «неспокойную», но он и здесь будет работать по принципу: «Нас не трогай, мы не тронем»... И глядишь, до майора иль до полковника дослужится. Молодой же парень получил вечное звание — покойничек, потому как, по тайному твердому определению Феди Лебеды, глупый был. Сошнин, да и не он один, и мысли, и дела таких несложных людей, их уверенность в незыблемой правильности линии избранной ими жизни, знал наперед. Хорошо, хоть родился Федя Лебеда в годы, не подходящие для войны, он бы, попади на фронт, не одного бы молодого парня подставил под пули вместо себя.

«Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Ахлюстина. «Се ля ви, трудно поддающаяся теоретическому анализу», — глаголет интеллектуалка Сыроквасова. «Эх, жизнь кубекова, обнял бы, да некого!» — вздыхает Лавря-казак. «В ей, в жизни, завсегда, как на рыбалке: то клюет, то не клюет...» — Философия дяди Паши, пожалуй что, самая близкая к действительности и, главное, доходчивая.

Намотавший сто двадцать лет сроку тип, начавший молиться богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строгого режима, находящейся во-он за тем лесом, в торфяных болотах; Паша Силакова, гоняющая на мотоцикле по родным просторам пуще юноши; тесть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы «не разостраиваться»; теща, явившаяся в Починок в парадном костюме, капроновых чулках, показывающая всем видом, что судят не того и не так; народ, воспринимавший судейское действо словно переживательный спектакль, — все-все это жизнь, в которой «то клюет, то не клюет», веселая, беспечная, немысленно суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички, тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку.

Между тем Венька Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает, папы и мамы несчастных детей, пэтэушник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк с отстреленной в побеге рукой, в богоискательство ударившийся, — все-все это вон за теми деревушками и за лесами, которые были до них и будут после них, — все это жизнь, все это реальность, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее, поднимись до понимания правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники?

Реальность, бытие всего сущего на земле, правда — сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда — самое естественное состояние человека, ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче она стонет, плачет, вздыхает, смеется, умирает и рождается, и даже когда ты привычно лжешь себе или другим — это тоже правда, и самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда великий поэт со стоном воскликнул: «Нет правды на земле. Но правды нет — и выше!» — он не притворялся, он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, но, как альпинисты, лезут и лезут по гибельно-отвесному камню. Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму.

Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, — все же правда нехорошая. И страшнее она лжи.

Сошнин-таки осилился, заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо — отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника, или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего, так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром, не ранним, выскоблился, намарафетился. Помочил расческу Сошнин, разодрал свалявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей как было насвинячено, так все и оставалось: окурки, стекло, железные пробки, коробки от спичек и сигарет, рванье бумаги и фольги, растоптанные селедочные головы, куски хлеба. Здесь же, на газете, постеленной на пол, со всеми удобствами расположился посетитель: стакан, унесенный из автомата, в расковырянной фольге мертвое свечение плавленого сыра, надкушенное яблоко и темная, мрачная бутылища бормотухи с потеками на наклейке,

— Д-ру-у-уг, — раздалось из-под лестницы. — Какое сейчас время?

— Утро.

— Утро? Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит... Так и жизнь пробегит...

Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом: «Утр-ра туманна-а-ая, утр-ра се-эда-а-ае-э, да-али лазур-рныя мр-ракам покрытын...» Гость седьмого дома оказался меланхоликом. Певцом-меланхоликом.

В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сошнин его нетерпеливо разорвал.

«Добрый день! Веселый час! Дорогой мой сынок Леня.

Изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам. А не улетишь. Корова на дворе, что якорь на корабле — дёржит. И хозяйство всякое кругом, да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась: хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нерьва ее здала, в боях с врагами социализьма и со мной...»

Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном.

«Дошел до нас слух, что вы опеть с женою в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть — ниче не придумашь. Токо одно скажу: нам, мужикам, надо и жалеть их, дур. Куда оне без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в сорок девятом году уходил из дому — не стало мочи. Пристал я к одной хорошей жэншыне, из соседней деревни Тугожилиной, вдове — еще смолоду мы с ней знались. Починил ей домишко, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил, живем, друг дружке не нарадуемся. А моя-то, Толька-то, совсем запурхалась, ниче ведь не умет, токо лаяться и выступать. Приходила окна бить. Я забеспокоился: Толька в нормальном состоянии за домом не следит, что тогда в ем деется, когда она в нервном приступе. Приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено, корова не подоена, на всю деревню орет, пчелы с дому их не выпушшают. Лерка золотухой обросла. И что мне свою судьбу тешить? Энти ж пусть пропадут? Так и остался. Старуха блудней меня кличет, на месте действия, говорит, захватила...

Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти — чтоб прочувствовала. Да как побьешьто? Женщина. Баба. Дитя родимого мать.

Жду ответа, как соловей лета! Приезжайте со Светланкой, хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам радые. Корова отелится, молочко свеже будет — это хорошо для здоровья. В жись вашу я не хочу встревать и старухе не даю, но так жалко всех вас — изувеченный на охране опшэственного порядка, залег ты в квартере, как в берлоге, — не сварено, не топлено, так вот и слезы у меня на бороду...»

В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами, выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей, потом подопрется рукой и запоет: «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, нихто замуж не берет деушку за это...» Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой: «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял!» — и ударит вперешиб, звонко, непримиримо: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастию ключи...» — «Ключи! Ключи! Ключи!» — подхватят старушонки, радостные оттого, что помнят еще что-то из песен, когда они подпевали в молодости в хоре бойкой Евстолии Чащиной. Она вон и ноне еще как запоет, так взгляд ее сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на всех, звякнет хозяйка кулаком по столу: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борь-ба!»

Старушонки в привычный подхалимаж ударятся: «Да уж не зря, конешно, эстолько благодарствий и грамот тебе дадено, Толя. Не зря! Борьба — есть лизурьтат».

Чтобы не портить праздника, не ввязываться в ор со старухой, которая искренне верит, что она для Родины и для родных полей сделала неизмеримо больше, чем все эти землеройки, и муж ее — тугодум, сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд» — по нему катаются фигуристки в одних трусиках да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются.

«Страм-то, страм экий! Куда токо родители смотрят? Да и власти тоже. Худородные ж от простуды девки сделаются, станут робят рожать, в солдаты негодных, кто Родину защищать будет?» — тревожится у телевизора Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное: «Это он, девки, ждет, ковды с фигуристок трусики спадут! Да не спадут, не спадут. Нонче знашь кака резинка? Синтетическа! Это у нас ране — веревочка лопнет... альбо ухажеры порвут — пляшешь со штанам в беремя...»

«Так-так, Толя! — поддакивают подружки. — Худа жись была. Отсталость. Темнота. Теперь што не жить? Елестричество кругом. Телевизир смотрим. Бело стряпам. Здоровье бы токо было...»

Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожилинского телятника, который не покидал Сошнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по угреватому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны.

Вяло, безо всякого аппетита ободрал Леонид зубами лапу склизкой, словно в мыле сваренной курицы. Попил чаю. Попробовал пристроиться к столу, стол шатался, скрипел, вечерами отчего-то крякал даже, и вечерами, в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо — сшевелил суставы, потревожил раны, лупцуя изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопьются и подохнут.

Из отделения не звонили, значит, битые им молодцы никуда не заявляли, перевязались, отсморкались, выпили «микстуры» и спят где-нибудь сном проваль-

ным, пьяным, и ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни о чем и ни об ком не болит.

Лежа на диване, Сошнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом: «Кого надо?» Он сказал кого. Слышно было, как стучали из коридора в стену.

— Привет медицине! У вас автомат сегодня, как часы.

— Не успели трубку оторвать. Как жизнь?

— Восхитительна.

— Что-то случилось?

— Почему ты так решила?

— Иначе бы ты не позвонил. Тебе снова нужно мое утешение? Защита от врагов?

— Да нет. Врагов я уже сокрушил.

— А-а, вот это уже серьезно. Где? Кого? Сколько?

— Дома. Под лестницей. Троих.

— Медицинскую помощь оказали?

— Не потребовалась.

— Дождешься, мент удалой! Достукаешься! Всадят тебе нож в спину...

В ответ на «мента» он хотел сказать — «примадонна», но сдержался и похвалил себя: «Во, молодец! Вымуштровали! ..»

— Чего жрешь-то?

— Курицу варил. Отец письмо мне прислал.

— Мне тоже. И еще мяса. Свинью они закололи к Новому году.

Сошнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав «к нашему приезду». Ему бы поддержать «зазвучавшую струну», навстречу человеку двинуться, но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек.

— Тебе лучше, — сказал и добавил: — Между прочим, отец советует тебя побить.

— Это он вычитал в любимой газете «Сельская жизнь», в серии «Полезные советы». Только подожди, стирку закончу, приберусь, приготовлюсь. Да вот еще остановка — бить-то сделалось нечего. — Лерка перебарывала слезы.

Оба замолкли.

— Если у тебя ничего срочного... Я, правда, стираю. Светка возле машины.

— Да-да, — спохватился он.

— Чтобы разогнать мерехлюндию, возьми на выходные Светку. Она тебя развлечет. Первоклассница смышленая и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании школы туда. Ее интересует также, где учатся на артисток? С какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки? Сколько раз в жизни случается любовь? Откуда берутся дети? И многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонораров не хватит на ее сряду. Ой, я побежала!

— Постой-постой! Светка ко мне, а ты куда?

— Как куда? На свиданье. Сватает меня сосед-бульдозерист. Истомившееся его сердце ласки просит... он себе подругу жизни ищет. Четыреста в месяц заколачивает...

— Бульдозерист в мазуте, а у тебя должен быть стерильно чистый халат.

— Отмоюсь. Сейчас такая химия... Ой, я правда как на иголках. Светка не сунулась бы в машину. Чрезмерно девица любопытная.

— Тогда до свидания!

— До свиданья! Звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет.

— Лады.

— Н-ну, я пошла.

— Н-ну, ты, если что...

— Что «если что»?

— Ладно. Я все понял. Спокойной ночи!

— А тебе наоборот!

— Да, попробую поработать.

— Всякий труд благослови, удача!

— Благодарим. Постой!

— Чего еще?

— Ты тетю Граню давно видела?

— А-а, вон ты о чем? Нет, недавно. Чешет по улице Мира, коробок беремя прет. Она теперь в Доме ребенка работает. Вещички детские собирает.

— Как она туда попала?

— Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева — заведующая Домом ребенка. Не могла же она не уманить за собой такой кадр.

— М-да-а. Это, значит, тетя Граня барахлишко — побоку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде.

— Всегда так было: кто-то бросает, кто-то подбирает... Во! Надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить: изо всех твоих потерь тетя Граня — самая непростительная. И утешений на этот счет не жди.

— Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал.

— Ты становишься интеллигентом! Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить... Ой, отпусти, ради бога! — С этими словами Лерка убежала.

Сошнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный зуммер, звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого, мира.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

К нему, к тому, к другому, миру и потянуло Сошнина. Он запер дверь, перегнулся через лестницу. Под ней мирно спал, уронив пустую бутылку набок, чужой человек.

«О господи! До чего ж надоело!»

На улице подмораживало. Уже не капало, лишь сочилось с крыш, удлинялись четко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звездочкой мерцала остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть и хмарь кособокие звезды. Яснее светились огни на железнодорожной станции, ближе подвинулись многоэтажные дома города, и лишь по берегу реки Вейки фонари все еще плавали желтками в янчно-белесом испарении. Холмы,

все отчетливей проступавшие за станцией, как всегда, полны были тайной задумчивости и значения.

Со станции слышались объявления — как раз принимали поезд на Ленинград, и Сошнину до крику захотелось уехать на край света, уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал, были у людей какие-то цели, занятия, думы, что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу и, может быть, где-то даже ждал...

В половине двенадцатого со станции Вейск отправлялся напомаженный фирменный поезд на Москву — «Заря севера», и возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины, среди них черная «Волга», по номеру давно известная Сошнину — на этой машине возили важного ныне человека в городе — Володю Горячева.

Дядя Володи Горячева был начальником Вейского отделения железной дороги, крутой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта, города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейшей души человек, отчего-то не могла рожать, и, когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячева, решено было взять из деревни младшенького, Володю. И взяли. И полюбили. И растили, балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности, и конечно же такой «кадр» не мог не спуститься с «горы» — так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само управление отделения дороги, — и не примкнуть к трудовому народу в тети Гранином тупике.

Работал, пластал одежонку Володя Горячев. Спускалась Алевтина Ивановна в «низ», пробовала воздействовать на Володю, изъять его из трудового коллектива, да где ей в одиночку-то совладать с обществом.

Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок. «Испортила ребенка, изуродовала! Со шпаной разной связала! Отвечай!» — наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна.

Задумалась тетя Граня — никакими яблоками она ребятишек не кормила — нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись, завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал, барчонок, все дотла, нарочно выпачкав печенками белоснежную скатерть, и пошел ведь, пошел на поправку, поправившись, неслух опять спустился с «горы» на железную дорогу — работать.

Володя Горячев окончил школу конечно же с золотой медалью, потом технологический институт — конечно же с отличием, потом еще в академии какой-то пообретался — и пошел чесать в гору, только уж не на железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяевал в самой крупной строительной организации города Вейска — «Вейскгражданстрое», где насчитывалось более десяти тысяч трудящихся, сколько там бездельников — не ведал даже сам руководитель предприятия.

Сошнин встречался с Горячевым чаще всего в облисполкоме, где дежурил на тихом месте после того, как выписался из больницы с хромой ногой.

— Здравия желаю, гражданин начальник! — всегда одинаково приветствовал давнего соратника по труду на желдортранспорте Володя Горячев и, подержав у виска руку, совал ее, будто лопату в землю, и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу.

— Добро пожаловать, будущий «химик»! — охотно откликался Сошнин и так сжимал руку Володи Горячева, что тот приседал.

— Сразу и «химик»! — тряся холеной уже кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. — С такой-то силушкой в инвалиды затесался!

— Нам без этого нельзя, — ухмылялся Сошнин. — Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на «химию». Воруете потому что.

— Мы не воруем, мы экономим.

— Слышал, по местному радио слышал, — Сошнин постукал ногтем по ящику радиоприемника, — «Вейскгражданстрой» сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?

— Ага. Жди. Догонят да еще дадут! Когда от многого берут немножко — это не воровство, это — дележка! Помнишь золотое наше детство, «Путевку в жизнь». Помнишь?

— Я помню все, что ты не позабыл...

— Мы что? Детсадовцы. В Сибири вон шустряги-ребята решили миллиард сэкономить. Вот это масштаб!

— Миллиард? Стырить?!

— Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов! Зачем тырить? Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят незавершенку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард, пять миллиардов, может, и десять народу вернут. Да еще и с извинением: вот, мол, наши предшественники разбазаривали, пропивали, а мы хорошие, мы собрали!

— Эко место лисапед!

— Вот тебе и место! Вот тебе и лисапед! Так, значит, говоришь, «химии» мне не миновать.

— Не исключено.

— Новая эра жизни надвигается! Прямо оглянуться некогда, все эры, эры...

Провожали какое-то столичное «сиятельство», и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттудова на готовно подставленные заботливые руки. И «сиятельство»-то, судя по непородистому, вбок скатившемуся

пузцу, не очень уж и большое, из главка или из министерства, с этажа не выше чем второго, но, поди ж ты, вейская «общественность» привалила на станцию, высыпала на перрон. Главный инженер «Вейскгражданстроя» Ведерников тут был, юркий пустозвон-профсоюзник Хаюсов — как же без него-то? Две дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела, недавние еще студенты политеха, и другие, более сдержанно державшиеся, подвыпившие личности.

В стороне ото всех томился, весь в красных пятнах на хмуром лице, Володя Горячев. Он тоже делал «сиятельству» ручкой, вымученно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подзывали, из одного фужера коньяк, и общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали: «Пить до дна! Пить до дна!» Добчинский и Бобчинский, характеристику коим Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно, и поэтому напомню ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика: «Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский — городские помещики, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского».

Вейские Добчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами — одного звали Эдиком, другого Вадиком. Кроме того, одеты они были не в сюртуки тонкого сукна, в современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков, из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока то и дело выныривали голубые «поплавки», имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков Добчинский и Бобчинский имели гривы, на ночь завиваемые на женские бигуди, вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот, печатки на пальчиках, запоночки золотые, галстуки тонные, не иначе как с арабских иль персидских земель завезенные. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попку «сиятельство», а оно все норовило усклизнуть, вывалиться и то и дело, к восторгу Добчинского и Бобчинского, вываливалось. Дамочки-общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой, с умилением ее пялили на высокомудрую плешь дорогого гостя.

Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло в берестяных плетенках, на шею «сиятельству» надеты были три пары липовых игрушечных лаптей, в узорчатом пестере позвякивали бутылки, в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой, уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная, деревянная иконка.

В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами, расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающе показной и пьяный, местный «боец пера» — Костя Шаймарданов, которого Сошнин недавно в больнице, куда тот пришел «отражать» его героический поступок, уговаривал проехаться по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. Зачем ему, лизоблюду, деревня? Зачем?

Поезд «Заря севера» уважительно тронулся, почтительно отстранив гостя, одетый в парадную форму величавый проводник вагона поднял железный фартук. «Сиятельство» меж тем все махало собольей шапкой, посылало воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали: «Приезжайте! Приезжайте! Милости просим! Всегда пожалуйста!..» Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до «ручки», и, будь у поезда скорость гоголевских времен, они б и до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе двадцатый век! Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза — и умчался, оставив сиротски одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского на замусоренных и унылых желдорпутях, аж почти за станцией, возле пункта технического осмотра вагонов.

Сошнин хотел пройти мимо Володи Горячева, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль, в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили, он, как ему казалось, про себя ругался.

— Вставь! Вставь в комедию! — цедил Горячев сквозь зубы. — Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворят все наши заявки. Этот сиятельный штымп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету, «Пограничник стоит на пастуху!» — поет мой Юрка, значит, у буржуев ничего не упрешь, у своего народа, в родном отечестве будет красть, химичить, отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики, обеспечит технику запчастями. Мы выполним план по строительству жилья, досрочно сдадим птицефабрику, пустим свинокомплекс, достроим наконец театр юного зрителя! Всем будет хорошо: рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение плана полетят, кой-кого с работы сымут... Тьфу, распро... — плюнул под ноги Володя Горячев. — Когда это кончится, и кончится ль? — С отроческих лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая век у Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце и всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе, после академии с ним вовсе никакого сладу не стало, и изо всех сил пытается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую — внука Юрочку.

Володя Горячев открыл дверцу «Волги», кивнул:

— Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь.